# Андрей Дмитриев

# Крестьянин и тинейджер

## Серия **«Самое время!»**

С каждым новым романом превосходный стилист, мудрец и психолог Андрей Дмитриев («Закрытая книга», «Дорога обратно», «Поворот реки», «Бухта радости») сокращает дистанцию между своими придуманными героями и реальными современниками. В «Крестьянине и тинейджере» он их столкнул, можно сказать, вплотную — впечатление такое, что одного («тинейджера») только что повстречал на веселой Болотной площади, а другого («крестьянина») — в хмурой толпе у курской электрички. «Два одиноких человека из параллельных социальных миров должны зажечься чужим опытом и засиять светом правды. Вот только с тем, что он осветит, им будет сжиться труднее, чем друг с другом» (Валерия Пустовая).

Так мучил зуд в ногах, что Панюков почти не спал всю ночь. В пять утра встал, подоил корову, выгнал ее пастись на пустошь за дорогой. На утреннем июньском холоде зуд утих, и Панюков вернулся в дом, досыпать.

Сон был неглубокий и неясный, весь из рыхлых заплат, из бахромы, из коридоров и щелей; в коридоры вошел дождь, зашелестел о том, что где-то рядом есть и жизнь, которая не снится, и что пора к ней возвращаться, но сон туда не отпускал. Дождь загудел, завыл; бил дробью в кровлю, в окна, и разбудил наполовину, но просыпаться не хотелось. Тогда ударил по стеклу кулак, опять ударил и опять, потом заколотил изо всех сил, грозя разбить стекло, — тут уж пришлось открыть глаза. Кулак не унимался, бил и бил в окно. И дождь не унимался.

— Сейчас, ты, ах ты, гад, да погоди ты… — Панюков сел на постели, свесил ноги к полу, вдел их не глядя в валенки. Встал, подошел к окну. Стекло вздыхало, оплывая потоками и пузырями. В них плавало и лопалось лицо, вроде знакомое. Панюков вышел в сени и отпер дверь. Гость был уже на крыльце, и Панюков узнал его. Рашит-электрик из администрации. Панюков не стал здороваться, только сказал:

— Я сплю, Рашит.

Тот сказал:

— Вставай, зовет. Письмо к тебе пришло ему в компьютер. Надо тебе ехать срочно и внимательно читать.

— Зачем мне ехать? Ты так скажи.

— А я не знаю, чего там. Сказал, нельзя мне знать; какое-то секретное письмо. Он-то читал, но оно только для тебя.

— В записке написать, о чем письмо, он что, не мог? Ты подсказать ему не мог?

— Я намекал ему.

— А он?

— Сказал, что длинное, а ему некогда чужие письма переписывать, ему работать надо.

И Панюков смирился:

— Добросишь?

— Я не в Селихново сейчас. Я — в Котицы. Сумеева просила заменить ей пробки на предохранители.

— Намекал он! — не удержался Панюков. — И ничего ты ему не намекал, не надо врать.

Рашит побрезговал ответить. Не прощаясь повернулся и

сошел с крыльца.

Панюков глядел ему вслед, в его укрытую брезентом спину. Брезент был черен от воды. Одним ударом каблука Рашит завел свой мотоцикл, устроился в седле и покатил, разбрызгивая глину, вдоль поваленного штакетника. Панюков шагнул на крыльцо и огляделся. Дождь лил, казалось, отовсюду. За его бурой пеленой был еле виден неподвижный силуэт коровы.

Он провозился по хозяйству до одиннадцати утра в напрасном ожидании, что, может, вдруг и распогодится, и опоздал к автобусу. По сухой дороге он точно бы успел, а тут пришлось скользить и вязнуть в жидкой глине — он лишь тогда взобрался на асфальт по шлаку насыпи, когда «Икарус» на Пытавино пронесся мимо остановки. Кричать и махать ему вслед не было толку, но Панюков и покричал, и помахал — для того лишь, чтобы избыть досаду. Автобус в коконе упругой водяной пыли скрылся вдали за поворотом, звук его стих, и Панюков смолк. Настала тишина, наполненная шумом дождя. И ничего не оставалось, как идти сквозь дождь двенадцать километров по шоссе.

Идти по асфальту было легко, дождь колотил по плащ-палатке бодро, даже уютно, но с полдороги Панюкова вновь начал донимать зуд в ногах. «Вот бес меня понес, — зло думал Панюков и тут же утешал себя: — Зато зайду в амбулаторию; фельдшер посмотрит, что там; может, и помажет чем». Зуд поднимался жаркими волнами до колен и опускался жгуче к пяткам; сильно хотелось снять сапоги, стянуть носки, пойти босым по мокрому асфальту, но Панюков на это не решился: кожу размочишь — после будет хуже.

Чтобы забыть о зуде, он свою злость всю обратил на Вову, а что письмо пришло от Вовы, в том он не сомневался. Ему никто не мог писать, кроме Вовы. И это было очень похоже на Вову: отправить свои секретные новости на единственный в округе компьютер главы селихновской администрации, вместо того чтобы изложить их на бумаге и по-человечески послать в конверте. Письмо привез бы прямо на дом почтальон Гудалов; не надо было бы переться на больных ногах двенадцать километров под дождем, да что за дело Вове в его Москве до этих пустяков.

Они оба ходили в селихновскую школу, когда еще была селихновская школа, вернее Панюков — ходил, а Вова в ней почти не появлялся. Вова был младше Панюкова на два

класса. Он был из самого Селихнова, из трехэтажки, а его бабка Зина жила в Сагачах, в соседней с Панюковыми избе. У родителей Вовы были меж собой тяжелые, пьяные нелады, и Вова был ими заброшен; он жил у бабки в Сагачах и все свое время проводил с Панюковым. Панюков жил с матерью. Она Вову любила и подкармливала. Вова тогда стал Панюкову как младший брат. Когда мать Панюкова умерла, Вова плакал по ней, как никогда не заплачет по родной. Случилось это в восемьдесят третьем, за месяц до ухода Панюкова на войну.

Панюков выжил в Кандагаре и вернулся в Сагачи. Устроился в совхоз на сепаратор и стал ждать Вову, ушедшего воевать двумя годами позже. В совхозе оставаться не хотелось, но и пускаться в городскую жизнь одному, без Вовы, он не решался. Ждал его и писал ему письма, про всё как есть. Про смерть его бабки Зины («Я за избой ее присматриваю и прибираю там. Ты потом сам решишь, как с избой быть дальше»). Потом и про развод родителей Вовы («Разъехались, и оба из Селихнова уехали, а кто из них куда — и не узнать теперь. Адресов никому не оставили, тебе ничего передать не велели, но это еще ничего. Плохо, что совхоз забрал вашу квартиру в трехэтажке. Как мне сказал Игонин, ты был всегда прописан в наших Сагачах, у твоей бабы Зины, и на квартиру права не имеешь»).

Вова тоже выжил, но возвращаться не спешил. Месяца три мотался в городе, год — по другим городам: то тут попробовал себя, то там. Потом вернулся все же, рассказал: везде одно — талоны, очереди, пустые магазины, грязные общаги, денег не платят или платят через раз; с места срываться — чего ради?

Вова поселился в Сагачах, в своей избе. В сгнивающем совхозе работы для него не нашлось. Панюков вроде и работал на сепараторе, да проку с того масла не было — совхоз зарплату больше не платил. Тогда он бросил сбивать масло. Они с Вовой решили жить сами, и даже жить не как-нибудь, а на широкую ногу. В долг взяли трех коров, купили и овец, свиней. Построили сараи с клетками для кроликов и птицы и накопали новых гряд. Заботу о скотине Панюков со временем всю взял на себя, а Вова занялся их общим огородом и теплицей. Избы, похоже, никогда еще не чиненные, чинили, как могли, вдвоем.

…Родители Вовы свою крупу, хлеб, чай и водку обычно брали в магазине, картошку подбирали на совхозном поле по ночам. Мать Панюкова, баба Зина, и все, кто оставался в Сагачах в ту пору, скотину не держали никогда и обходились

огородами, хлебом, чаем и крупой из автолавки. Молоко в Сагачи привозила цистерна с фермы из Селихнова. Вова и Панюков, оба хоть и деревенские, и с огородами знакомые, и даже погонявшие, покуда были школьниками, туда-сюда на тракторах, сельскохозяйственной сноровки не имели.

Им поначалу было тяжело до скрипа зубов, но — вытерпели и, главное, не запили. Работали, пока светло: Вова работал молча (тогда он был еще молчун), а Панюков — тот с разговором, с пением во все воронье горло, с художественным свистом. Им он глушил зубовный скрип…

В вечерних сумерках Вова выбирался из теплицы, или разгибался над грядкой, или спускался с конька крыши, выплевывая гвозди в горсть, и говорил: «Ты бы заткнулся на одну минуту». Это означало, что пора кончать работу, время ужинать.

Зимой работали на пилораме — за дрова и тес, но, главное, чтобы не пить.

…И тошно Панюкову вспоминать, и горько понимать теперь: то было лучшее их время. Было, что съесть самим, чем поделиться с дачниками и соседями (тогда там еще были дачники и хоть какие, но соседи), и оставалось, что продать на пытавинском базаре. Долг Игонину, тогдашнему директору совхоза, теперь главе селихновской администрации, отдали раньше срока. Конечно, не разбогатели, но телевизор «Горизонт», цветной, купили. Старый «Восход» Панюкова — не знали, куда сдать. Выбрасывать «Восход» им было жалко, он хоть и барахлил, но кое-что, бывало, и показывал — и прямо на него, на черно-белый, поставили цветной. На третий год и «Горизонт» забарахлил, по всем его цветам пошли волнистые коричневые полосы; ехать в пытавинское ателье за сорок верст, записываться там, опять ехать назад, ждать своей очереди, после везти его чинить и снова ждать, и вновь тащить его назад все сорок верст было б себе дороже. Они в селихновском сельпо купили новый телевизор, поставили его на сломанный.

Теперь у Панюкова на комоде горкой стоят уже четыре телевизора. Три нижних не работают, четвертый, «Айва», привезенный Вовой из Москвы, приходится смотреть, если сидишь на табуретке — задрав голову, а всего лучше — лежа на кровати, на спине. В этом четвертом скоро тоже что-нибудь сломается, и на него придется ставить пятый телевизор.

И Панюков гадает иногда, с каким по счету телевизором

кончится жизнь. На глаз прикинуть, то с шестым или седьмым: выше седьмого — потолок; а жить в пустой деревне одному без телевизора попросту незачем.

Вова затосковал при третьем телевизоре. Пить он не начал, но работать перестал; он оставался на весь день в своей избе и никуда не выходил. Даже когда был ураган, и сыпались в теплице стекла, Вова, улегшийся на койке лицом к стене, и головы не повернул, — и ветер прыгал по теплице как хотел, круша подпорки, теребя, трепля и скручивая в паклю помидорную рассаду.

Лишь когда шквал стих, Вова заставил себя встать и взяться за ремонт теплицы.

Он сколько ни искал по магазинам и складам, пленки и стекол не нашел нигде, зато привез на нанятом грузовике целую груду старых оконных рам со стеклами. Он выдрал их из брошенных домов Деснянки, Клушева и Гвоздна. Добавил к ним и сагачевских окон, уж сколько их, не битых, оставалось в опустевших избах. Как мог, приладил их одно к другому на деревянном каркасе теплицы, замазкой склеил, залепил все трещины и щели, потом поглядел на свою работу, остался ею недоволен и пошел в свою избу — лежать и, лежа, тосковать.

Однажды в августе их третий телевизор показал балет и больше ничего. Потом они увидели толпы людей, тесно обсевших все ступени огромного крыльца огромного белого дома. В Москве шел дождь, и люди, в ожидании своей судьбы, укрылись с головами пленкой из полиэтилена.

Вова, ни слова не сказав, встал с койки, собрал баул в дорогу и, глянув на часы, пошел к шоссе, на остановку.

Панюков догнал его и пошел рядом: «Куда собрался, объясни?»

«В Москву. Ты видел, столько пленки? Пропадет…»

Вова сел на пытавинский автобус, уехал — и исчез надолго.

«Все не писал и не писал, будто я мертвый, — припомнил злобно Панюков. Дорога поднималась в гору. Реки дождя текли с горы ему навстречу, дождь дробно падал на спину. — А я не мертвый был, но чуть не сдох! Теплица, огород, это все — ладно, но тут еще коровы, свиньи, кролики, им жрать давай, и на их всех — я один. Пришлось начать их потихоньку продавать…»

Сначала Панюков продал одну корову («Какой был швиц! Какой был швиц! Да ни за что б не отдал — а куда было

деваться? Куда тянуть мне три коровы? Я не тягач, чтобы тянуть…»), затем избавился почти от всех свиней, кроме последней, да и ее договорился заколоть под новый, девяносто третий год.

Как раз под Новый год, когда у Панюкова в доме собрались все, кто заплатил ему, забрать свою убоину, бородатый почтальон Гудалов привез привет от Вовы: открытку с краснощеким белым ангелом, порхающим, как бабочка-капустница, вокруг нарядной елки.

Вова писал, что никакой, конечно, пленки, он, как в Москву приехал, не застал, зато он познакомился с одним толковым человеком, и тот просил его побегать по Москве с пакетами и поручениями на словах. Вова побегал, и человек тот взял его к себе: на первый случай посадил его в палатку торговать бельгийским спиртом для питья. На спирте Вове удалось скопить немного денег, и вскоре Вова смог устроиться получше — кем, Вова не писал, лишь намекал, что скоро жизнь совсем наладится, и он сумеет вызвать Панюкова в Москву не на пустое место: *«…ты потерпи пока и жди. Ест ли совсем трудно, прадай корову, можеш двух продать, и не робей вобще, кого считаиш нужным, тех и продавай, их всеравно тебе придеца скоро всех прадать»*.

Открытка с ангелом и елкой, но без обратного адреса, долго оставалась единственным известием о Вове, и Панюков, как скоро начинал тревожиться о нем, брал с подоконника открытку, разглядывал румяное лицо ангела, трогал пальцем красные, синие и золотые шарики на елке — и успокаивался.

Вторую их корову Панюков продал уже почти без сожаления, а третья, много прежде, чем он продал и ее, родила телку, которую он продавать не стал. Случилось это осенью девяносто восьмого, через две недели после внезапного приезда Вовы в Сагачи, — теперь уж той подросшей телке десять лет без малого, и Панюков, невольно убыстряя шаг в виду околицы Селихнова, представил, как она, теперь его единственная корова, жует свое сено и мокнет под дождем.

Как только Панюков вступил в Селихново, брызнуло солнце, тугой и плотный дождь стал расползаться, как желтая гнилая марля, рассыпался в труху, исчез; от луж и дождевых ручьев, бегущих кто куда по рытвинам разбитой улицы, разом пошел пар. Улица по всей своей длине то опускалась в яму, то поднималась в гору; бревенчатые черные дома,

казалось, приплясывали враскачку по ее краям.

Пройдя мимо кирпичной почты, в тени которой уже грелись, обсыхая, мокрые, обваленные слипшейся землей собаки, и мимо жилой панельной трехэтажки, из левого подъезда которой вышла курица, вся в круглых черных пятнах, и принялась взбивать когтями лужу, уставший Панюков поднялся к крыльцу панельного одноэтажного здания сельской администрации.

Возле крыльца стоял УАЗ Игонина; водитель Стешкин, сидя за рулем, курил, пуская дым в открытое окно кабины.

Панюков поскреб подметки о стальной скребок, внимательно их вытер о тряпку у порога, потом отважился войти. Как раз ему навстречу выходил Игонин, и так поспешно, что они едва не сшиблись лбами.

— Ты?.. Молодцом! — крикнул Игонин, уже сбегая вниз с крыльца. — Тебе письмо там, важное; читай пока и жди меня, как штык!

Игонин, длинный, как громоотвод, ловко и быстро сгорбился, нырнул в кабину своего УАЗа; водитель Стешкин выплюнул через окно окурок в лужу и сразу же завел мотор… Того, как они с места сорвались, Панюков уже не видел — он оказался в тесной комнатке перед больнично-белой дверью в кабинет Игонина.

Почти всю комнатку занимали стол с телефоном, монитором и компьютером, стул с секретаршей Ликой и табуретка у стола, для посетителей. На подоконнике росла герань и жужжал принтер. Панюков, помешкав, сел на табуретку и уставился в лохматую, лилово-розовую прическу Лики.

Лика была взволнована работой принтера: сначала она выудила, как только вылез из щели, лист с отпечатанной таблицей и, хищно протянув ногти к щели, стала караулить следующий лист; он выполз, тут же ей попался; Лика лишь мельком обернулась к Панюкову, кивнула ему с пониманием и произнесла, ловко подхватывая третий лист:

— Рашит все передал?.. Отлично. Ты погоди еще минутку: я допечатаю тут кое-что по делу, тогда — читай, чего тут для тебя…

— А что, нельзя было и мне так напечатать? Рашит бы и привез.

— Сейчас. С разбегу, — веско отозвалась Лика. — Буду я картридж на тебя тратить.

Панюков отвернулся от нее и стал разглядывать черный,

высокий бок железной печки, пузато выпирающий из стены игонинского кабинета.

Лику его молчание обидело; она решила пояснить:

— Картридж, новый, пятьсот рублей стоит. У тебя есть пятьсот рублей?

Панюков ей снова не ответил, молча прикидывая, сколько дров надо Игонину зимой, чтобы как следует топить и не простыть в этой бетонной конуре. Лика обиделась еще сильнее, добавила:

— Старый заправить, если кончится, будет дешевле, тут ты прав, но все равно — это в Пытавине. Мне что, из-за тебя потом ехать в Пытавино?.. Так что молчи и жди.

— Я и молчу, — ответил Панюков.

— Вот и жди. И нечего тут злые рожи пялить.

— Я не злой. У меня ноги что-то заболели. Так болят, словно изнутри чешутся.

— Кто виноват, что чешутся? Я виновата?

— Ты не виновата.

— Вот и не злись.

Едва лишь Лика подхватила пятый лист из принтера, тот перестал жужжать. Она грузно поднялась со стула:

— Садись сюда, читай, я тебе сейчас все открою.

Панюков сбросил с плеч на пол мокрую плащ-палатку и переместился с табуретки за стол. Лика, встав за его спиной, нависла над ним, опустив мягкую грудь на его плечо. Задышала в ухо и принялась возить по столу компьютерную мышь, пошлепывать по ней коротким белым пальцем с длинным алым ногтем. Панюков испуганно моргал, глядя на синий поначалу, потом вдруг побелевший, весь в разноцветных пятнах и квадратиках, экран и ничего на нем не видя. По ту сторону экрана ему почудился какой-то слабый шум, вроде того как по ночам едва шумит далекая машина на пустом шоссе…

— Вот, — наконец, сказала Лика. — Вот это письмо. Давай мне свою руку и не бойся. — Она уверенно и крепко вцепилась в покорное запястье Панюкова и, пронеся его над столом, как ценный и чужой, доверенный ей груз, аккуратно опустила всю его ладонь на мышь, затем согнула и направила куда положено его указательный палец. — Ты палец на колесике вот так держи все время, но не жми, держи полегче… Прочтешь, что поместилось; дальше думаешь читать, что уже не поместилось — шевельни немного вниз колесиком… Ты, сколько нужно, столько шевельни, а больше шевелить не надо… Вот, ты попробуй.

Панюков, как мог, легонько крутанул колесико — строчки на экране взмыли, словно ими выстрелили, вверх, и их не стало. Панюков зажмурился, потом открыл глаза. Экран был бел и гол. Письма на нем больше не было. Панюков вспотел.

— Да не так сильно, я же тебе сказала, — вдохнула Лика в его ухо. — Нечего было вертеть изо всех сил, я говорю.

Панюков, таясь, взглянул на свой излущенный почти до корня черный ноготь. Квадратный, толстый, бурый, словно обугленный, палец Панюкова дрожал от напряжения, еле касаясь колесика своей подушечкой с роговой мозолью. Панюков собрался с духом и очень осторожно шевельнул подушечкою вверх — строчки письма вернулись, словно выпав сверху из невидимого облака. И Панюков, повеселев, пошевелил еще колесиком вверх-вниз, вверх-вниз: строчки попрыгали строптиво, потом смирились, стали вроде бы послушны…

— У тебя клёво получается, — сказала Лика. Выпрямляясь, она перестала дышать в его ухо и мягко сняла грудь с его плеча. — Теперь читай спокойно, никто тебе мешать не будет; если что — зови меня. Я покурю пока.

И она вышла.

В форточку скоро потянуло дымом ее сигареты, и некурящий Панюков поморщился.

Он поморгал, привыкая к мерцанию экрана. Как только буковки в его глазах устали прыгать, словно блохи, и встали по своим местам, он начал, наконец, читать письмо. Оно было от Вовы.

*«Коля это только Панюкову срочно и секретно!!!!*
*И ты не смей читать!!!*
*Томке привет!*
*Твой Вова!*

*Здоров братишка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

*Не стремаися что пишу тебе на колькино мыло у меня нет пасты вручке а я спешу бекоз тебе приоритетное задание. Ты помнишь Федора Кириловича? Тот перец мне помог когда я тогда прикатил в Москву?? И мы с тобой ему потом не много помогли. Офкоз ты помнишь и лишнего блаблабла небуду. Он к стати шлет тебе превед (не ошипка! так тины нарочно шутят) и жалеет что до сихпор с тобой не поручкался. Где говорит братишка Панюков и почему в Москву не едет. Но ты не думай я тебя не выдал не сказал почему не едеш. Не едешь и не едеш. Сечас мне это даже вмасть. Ты мне поможешь для респекта. Приоритет такой.*

*У Федора Кириловича сын. Его звать Гера. Попаспорту его зовут Герасим но он стремаица когда его зовут Герасим. Парень клевый но каплю накосячил по учебе зачто поперли с институту а сечас какраз весений набор ВС. А Гере в Армию нельзя. Мамка его посоместительству жена Федора Кириловича (шутка!) грозит в роде повесица (намек!) если ее бэби заберут в ВС. И от мазать не успели и в ВС ити нельзя. Остаеца переждать этот набор. Но не у нас. У нас тут полный беспредел. С повестками приходят и с нарядом днем и ночью. Ментура и комендатура по всей Москве хватают пацанву как котов. Федор Кирилович просил меня постарой нашей дружбе пусть Гера весь набор побудет тихо в Сагачах с тобою. Парень уже выехал на поезде сойдет в Пытавино ты его встреть. И ты не куксис. Он не вредный, и над другими не стебаица не зажигает и мешать тебе не будет даже от скуки хорошо сним блаблабла. Теперь внимательно. Он везет тебе бабки ему на жрачку + твой солидный бонус за услугу. Скажи Игонину что б дал тебе машину встретить. Если не даст ты от меня ему скажи что не отмоица потом!!! Сечазже ноги в руки ехай в Пытавино. Если немного опаздаешь не беда дождется. Я понимаю что ты думаешь братишка!!! Ты служил и я служил и даже воевали!!!! Но всем так надо как и нам вот вчем вопрос????? Ты помниш как там с нами было а как там сечас с ними ты можешь знать по ящику (скажи мне чесно не пора нам ставить пятый ящик?????). Деды так абарзели как ни кто!!! Салагам ноги яица рвут как легушкам!!! Такое там тварица!!!!! Тинам туда не надо. Тины пусть лучше молочко парное попиют в деревне. Как твоя телка к стати? (шутка!) Я помню уже взрослая корова? Ты ей придумал имя?? Как твое здоровье???? Мы не курим и не пьем короче всех переживем!!! И почему не пишешь разве почтальон Гудалов помер???*

*Жму кисть и чмокичмоки как говорят тины,*

*Твой дядя Вова (шутка!).*

*Еще. Ты почему не спросишь про мой бизнес? Тебе неинтересна??? (шутка!). Моя автомойка цветет и пахнет стопудово в самом вкусном смысле. Лужок издал такой закон о грязных тачках что теперь мне бедность негрозит. Нам негрозит с тобой, ест ли ты понял!!! Потом приедеш будеш мне все накладные и в налоговую все писать по скольку шибка грамотный (шутка! Но и намек!!!).*

*Прости, братишка, что пишу бес запятых, я знаю, ты на это злишся. Я запятые, видиш, не забыл, но мне играть в*

*наше раставь все запятые уже некогда, бекоз спешу, а наше дело срочное.*

*Чаокакао, В.*

*Покапока!!!»*

На всякий случай Панюков дошевельнул колесико с запасом вниз, *«Покапока!!!»* скакнуло вверх, и больше от Вовы не было ничего. Панюков встал, перегнулся через край стола и крикнул в форточку:

— Я — все!

Вошла Лика, дыша куревом. Сказала, словно не поверила:

— Все?

— Все. — Панюков подобрал с пола плащ-палатку и накинул ее на плечи. — А где Игонин?

— Он знает, что тебе нужна машина, не волнуйся.

— Я и не волнуюсь…. Слушай, а ты тут смотришь Интернет?

— Смотрю, а как же. — У Лики начали краснеть щеки. — И кое с кем общаюсь…

— Какие-такие тины?

У Лики сразу покраснела шея:

— Тины — значит молоденькие. Понял?

— Да, так короче, — согласился Панюков.

— А интересно, этот тин московский, он какой?.. А то бывает: из Москвы, а морда, как у всех.

— Это увидим. — Панюков пожал плечами так, что скрипнули наплечные крылья плащ-палатки, и спросил без интереса. — Ты там все прочла?

— Я все читаю, что нам поступает, — строго ответила Лика. — Мне по работе так положено.

— Всем только не болтай, — сказал Панюков, боком выходя из конуры. — Игонин будет — я в амбулатории.

— Я позову, когда приедет… Слушай, еще!

— Что? — обернулся Панюков.

— *Бекоз* значит по-английски: «потому что»… А *офкоз*…

— Да знаю, знаю, знаю я *бекоз*, знаю *офкоз*!.. — отмахнулся Панюков и вышел вон.

«Как же, как же, некогда тебе теперь и в запятые поиграть, — все еще злился Панюков на Вову, шагая в сторону амбулатории, — можно подумать, ты когда-нибудь умел играть по-настоящему, не через пень-колоду!»

…Вова не был ленив, и не был туп, и не любил бывать один, но в школу ходил редко, предпочитая не показываться в Селихнове, где жили и шатались с выкриками или с угрюмым

бормотанием по всем трем улицам села его родители и трудно было избежать случайной встречи с ними.

Обычная тогда была картина: Вова с Панюковым ранним утром бегут, гремя портфелями, на остановку и еле успевают, и вот уж Панюков вошел в автобус, а Вова — тот войти вдруг не решается, поскольку у него *тянет* живот. Глаза его страдают, он прижимает к животу портфель и обреченно машет Панюкову свободной рукой, ты, мол, езжай один… Под вечер Вова бодро встречает Панюкова на той же остановке, будто и не уходил с нее весь день: глаза веселые, живот здоров и даже громко *разговаривает* в ожидании ужина; они идут в дом к Панюкову и там играют в запятые.

Игра произошла от самого обычного диктанта. Чтобы хоть как-то приохотить Вову к правописанию, мать Панюкова каждый вечер дважды переписывала — в специальную тетрадку Вовы и в такую же тетрадку сына — какую-нибудь свежую газетную статью, нарочно опуская запятые, и Вова с Панюковым должны были расставить запятые заново, кто правильнее и кто быстрее, каждый в своей тетрадке. Другие знаки препинания мать оставляла все как есть, как Вове вовсе непосильные: включи она все эти точки с запятыми и двоеточия с тире в игру, он был бы обречен на постоянный проигрыш и, значит, на потерю интереса. И в запятые он выигрывал нечасто, но все ж, бывало, и выигрывал, в награду получая сковородку жареной картошки поверх ужина.

Опять зуд стал жарко подниматься от подошв к коленям; пер, как опара, от которой, показалось даже, вот-вот лопнут голенища сапог; и Панюков заторопился.

Уже был виден синий дом амбулатории, наполовину скрытый кроной клена, и оставалось до него не больше тридцати шагов, как Панюков вдруг сбился с шага или его шаг сбился сам собой возле тропинки, ныряющей меж двух заборов влево, в тягучую тень яблонь, нависших над тропинкой с двух сторон и словно сросшихся над нею.

Пусть Панюков нарочно не смотрел на ту тропинку, он знал давно, что она вся в густой, как вар, тени, а понизу вся заросла с боков подорожником, лопухами и конским щавелем, и что ведет она к соседней улице. «Нет, не сегодня, ни к чему, с ногами тоже надо что-то делать», — пытался Панюков себя стреножить, но это была жалкая попытка; он огляделся, перекинул со спины на голову брезентовый капор, надвинул его на глаза и быстро шагнул в тень; дальше он шел почти на ощупь, разрывая сапогами лопухи, гремя обеими полами плащ-палатки о заборы, царапая ее брезент о колючие

ветки шиповника, торчащего сквозь щели.

Вышел на свет и оказался прямо перед домом, когда-то крашенным в цыплячий бело-желтый цвет, теперь словно ощипанным.

Встал, вжавшись лопатками в забор, в тень яблонь. Улица была безлюдна; ее переходил вразвалку голубь с мохнатым задом и жирным горлом. Панюков проследил его ленивый путь с завистью: то тут, то там остановившись по пути, чтобы попить воды из лужи или порыться клювом в глине, голубь уже перешел на ту сторону улицы — а он все не решался сделать первый шаг.

Голубь с трудом взлетел и, сделав круг над улицей, опустился на крышу дома, сел на конек возле трубы — и Панюков шагнул из тени, не поднимая головы, не глядя по сторонам.

Он сам не знал, зачем он переходит улицу и что он совершит, когда перейдет ее: начнет туда-сюда бродить под окнами, изображая одинокого прохожего, или рискнет встать на завалинку и, ухватившись за края ставен, подтянется, заглянет внутрь, и, может, повезет ему увидеть *Санюшку*, а после быстро спрыгнуть вниз с завалинки и, головы не поднимая, убежать… Или затем он переходит улицу, чтобы, стыдясь себя до обморока, постучать в дверь, войти, услышать наглый хохоток и следом наглый говорок ветеринара: «Хо, кто приперся. Сань, глянь, ха-ха-ха, твой хахалек приперся. Что, скучно в Сагачах, начал бухать, как люди, а одному не лезет в горло? С собой принес?» — что-то такое точно скажет ему ветеринар; придется, головы не поднимая, отвечать, что не принес он ничего, как не бухал он, так и не бухает, — потом придумывать придется, зачем пришел; уж лучше, в самом деле, просто встать на завалинку и быстро подтянуться, и мельком заглянуть в окно…

Уставясь взглядом в глину, Панюков едва перешел улицу до середины, как вдруг услышал быстрое нытье и скрип дверных петель; открывшись настежь, дверь ударила о стену, и Панюков, не поднимая головы, круто свернул влево, побрел прочь, нарочно замедляя шаг, словно какой-нибудь случайный и никуда не торопящийся прохожий. Он брел тихонько, покуда не услышал за спиной увесистый прыжок с крыльца — потом и легкий стук калитки.

Открытая калитка в огород, пошатываясь, легко поскрипывала. Глядя на нее через плечо, Панюков ждал и гадал, кто из огорода выйдет, — не признаваясь сам себе в надежде увидеть Саню… Вот из калитки выкатилось колесо

велосипеда — и вел его ветеринар, в футболке, в спортивных шароварах, в резиновых галошах на босую ногу. Закрыл ногой калитку, вывернул руль, с тяжелого короткого разбега сел в седло и покатил по улице от Панюкова прочь. Панюков глядел ветеринару вслед, пока тот не скрылся за водонапорной башней. Нетерпеливо постоял, затем почти бегом направился к крыльцу.

Засов был отодвинут, висевший на его петле замок — расстегнут. Панюков потянул засов на себя и шагнул через порог. В сенях его накрыл мрак, обдали запахи тряпья, сырой и кислый дух лежалого картофеля, запахи пыли и керосиновой копоти. Позвал негромко:

— Санюшка…

Ответа не было. Панюков прислушался во мраке. Какой-то еле слышный говор, походивший на сонный летний разговор голубей, чуть доносился из-за двери. Панюков громче позвал:

— Саня! Александра Ефимовна!..

Опять никто не отозвался из-за двери, и не смолкал за дверью тихий голубиный разговор. Панюков осторожно толкнул мягкую, обитую рваным дерматином с ватой дверь и вошел.

Увидел валенки, валявшиеся возле печи. Из-за угла печи выглядывал кухонный стол с изрезанной клеенкой и немытыми тарелками; оса гуляла по открытой банке с темным, густым вареньем; на табуретке стоял таз с мыльной водой, над тазом капал рукомойник. Из-за другого угла печи торчала высокая железная кровать со взбитым к прутьям спинки ватным одеялом; угол измятой простыни свисал до пола, полускрывая ряд пустых бутылок и банок с крышками, набитых огурцами в мутном рассоле и, вроде, кабачками с патиссонами. И бормотало радио в углу на телевизоре: звук его был так слаб, что невозможно было разобрать, о чем оно бормочет. Душно было в избе, смрадно, а Сани не было.

Грохнула дверь, и раздались шаги в сенях. Панюков не успел растеряться, лишь обернулся — и оказался лицом к лицу с ветеринаром. Не зная, что ему сказать, просто развел руками.

— Ты кто? — проговорил ветеринар хмуро, но без страха. — Ты капюшон-то скинь…

Панюков послушно поднял с лица капор плащ-палатки:

— Я это, кто ж еще… — ответил он не сразу. — Думал, ты дома, дверь открыта, а тут никого.

— Ну надо же, — сказал ветеринар. — Ты сколько лет не

заходил?.. Год?.. После позапрошлой Пасхи тебя не было, да и тогда не заходил, мы в магазине встретились.

— Да, в магазине, точно.

— Я думал, ты подох в своих Сагачах, а потом думаю: нет, не подох, мы бы узнали.

— Узнали бы, — согласился Панюков.

— Зачем пришел? — спросил ветеринар, шагнув за печь, к кухонному столу. В руке его был полиэтиленовый пакет, в пакете звякнуло подробно, и ветеринар, не мешкая, выставил на клеенку две водочные бутылки и четыре — с пивом. Косясь на Панюкова, сказал: — Тебе не предлагаю, ты ж не бухаешь. Или забухал?

— Нет, не бухаю, — подтвердил Панюков, уже придумав, чем объяснить свое появление, и сказал: — А я — к тебе…

— Ну? — Ветеринар открыл, не жалея клеенки, бутылку с пивом об край стола и, прежде чем сделать первый глоток, на всякий случай повторил: — Тебе не предлагаю.

Панюков подождал, когда ветеринар отнимет горлышко бутылки от мокрых губ, и сказал:

— Что-то корова моя — то ли захворала, то ли пучит ее; не знаю. Ревет, когда не нужно; беспокоюсь. Ты бы приехал, посмотрел.

— Я посмотрю. Время будет, и приеду. Пока со временем — никак. Но я приеду.

— А когда? — спросил Панюков, с тоской и ненавистью воображая себе приезд ветеринара в Сагачи; еще и заплатить ему придется…

Ветеринар, задумавшись, сделал еще глоток. Потом вытер губы ладонью и ответил:

— На той неделе. Или и на этой. Ты ведь всегда дома?

— Да, всегда.

Панюков шагнул в сени и услышал за спиной:

— А Сани дома нет… Она к Семеновой пошла, там у них что-то про обмен веществ, новый журнальчик про здоровье, а какой, не знаю; неважно. Увидишь, скажи ей, чтобы шла до дому; я все принес.

— Увижу — скажу, — как мог равнодушно ответил Панюков и вышел.

В амбулатории все двери, окна были настежь, сквозняк шумно перелистывал пестрые страницы газеты на столе, но крепкий запах йода и на сквозняке держался стойко.

Фельдшер велел Панюкову снять сапоги, носки и закатать повыше брюки. Не приближаясь к нему, не вставая и

откинувшись на спинку стула, словно страдая дальнозоркостью, фельдшер разглядывал опухшие, покрытые красными и розовыми пятнами ступни и икры Панюкова. Наконец, спросил:

— Ты босиком ходил?

— Прошлым летом ходил, — старательно припомнил Панюков. — Все то лето жарко было… Зимой не ходил, и весною не ходил, и сейчас не хожу.

— Прошлым летом ходил… — повторил фельдшер с угрозой. — Ты в хлев к своей корове босиком ходил?

— В хлев не ходил, не помню. Я возле дома босиком ходил и — по дороге…

— Ты в район ездил? В пытавинскую баню ходил или ты дома моешься?

— В пытавинскую — не ходил и в городскую не ходил, — медленно ответил Панюков, боясь забыть или пропустить что-нибудь важное. — И дома у меня давно нет бани: печка там, зараза, развалилась… Я мыться в Котицы хожу, к Сумеевой; она мне баню топит за молоко.

— Еще кому она топит? Шабашникам приезжим топит? Охотникам?

— Да никогда! Она подозрительная, приезжих на порог не пустит. И не бывает в Котицах приезжих. Охотники когда, то — у меня живут, им не до бани…

— Тогда не знаю, — сказал фельдшер с облегчением. — Я уж подумал: рожа, а так — не знаю. Может, инфекция, может, экзема или нервная болезнь, хотя с чего бы тебе нервничать, ты на отшибе сам с собой живешь.

— Я и не нервничаю, — убежденно согласился Панюков. — Так что же это у меня?

— Я говорю: не знаю. Может, и рожа, говорю, а может, аллергия. Я здесь диагнозы не ставлю.

— Где ты их ставишь?

— Нигде, — ответил фельдшер. — Я банки ставлю, я горчичники тебе могу поставить, а за диагнозом тебе надо в Пытавино или еще куда подальше: в город; в саму Москву… Это — смотря как чешется.

— Смертельно чешется, — признался Панюков и осторожно пошевелил красными пальцами ног.

— Если смертельно, то в Москву. Возьмешь в облздраве направление…

В окне возникла лилово-розовая копна Лики.

— Ах вот ты где! — изумленно вскрикнула Лика, будто бы это было для нее новостью. — Он ждет, а ты расселся тут,

даже разулся!

— В общем, ты понял, — сказал на прощание фельдшер и, не дожидаясь, когда Панюков наденет носки и сапоги, потянулся к столу за пестрой и истрепанной газетой.

УАЗ уже рычал, постреливая выхлопами, возле крыльца администрации; длинная и узкая фигура Игонина раскачивалась на крыльце с мерной нервностью, как антенна на ветру; Лика с Панюковым уже бежали виновато, и Лика, задыхаясь на бегу, спешила сообщить:

— …Когда он, я про фельдшера, на похороны ездил в Хнов, и три недели его не было вообще…

— …И что?

— …У меня такой нарыв вспух, здесь, на руке, — и Лика на бегу взмахнула правой полною рукой, — болит, стреляет, тикает, температура — тридцать девять; ну, думаю, сейчас вся заражусь, помру…

— Так ведь живая!

— …Ты не перебивай. Мне тогда Кругликова, которая в Пытавине, в автоколонне раньше работала…

— Я помню Кругликову….

— …Она мне ниточку специальную заговорила.

— Какую нитку? — ничего не понял Панюков.

— Красную, шелковую, мулине… Заговорила, пошептала, полизала языком немножко — и мне на руку здесь вот повязала; и говорит: носи и не снимай, и все пройдет.

— И что?

— И все прошло! В Пытавине, ты не ленись, зайди к Кругликовой.

— Где ж мне ее искать? — ответил Панюков и, подбежав к УАЗу, поспешил забраться в кабину.

Игонин не дал ему сразу закрыть дверь, облокотился о дверную рамку и, согнувшись, сказал:

— Два часа дня сейчас, значит, московский поезд былдвадцать минут назад. Пацан подождет на станции, но ты — сразу к нему и никуда не заезжай, а то — неудобно, если долго будет ждать…

Панюков молчал. Игонин покусал тонкую нижнюю губу и, отвернувшись, спросил:

— Слушай, а что это твой Вова угрожает: не дам тебе машину — не отмоюсь? Зачем он так? Мы же здесь все свои.

— Он не мой Вова, — ответил Панюков. — И я не знаю, какие у вас с ним дела.

— Ладно, едь… И между прочим. Скоро работа будет.

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.